

## ▼ Память хранит

Евгения ЕВАНГУЛОВА.

# Крестный путь

(Продолжение. Начало в №6 от 16.02.2017 г.).

Но возвращаясь к описанию давних событий, наполненных для родителей и радостями молодости, и надеждами, порой счастьем, но и гнетущими предчувствиями, вошедшими в жизнь уже с конца 1920-х годов.

Припоминаю, что склонность отца побаловаться стихосложением использовалась им всегда в ироничной манере, скажем, в воспитательных целях или ради пародии. Из заметок на листке из блокнота, среди документов конца 20-х годов (приводится в отрывке):

Ещё одно последнее писание –  
И рукопись окончена моя,  
Закончен и доклад, заказанный Госпланом  
Мне, беспартийному...  
Да ведают потомки эссэсэцев  
Земли родной хитрейшую бузу,  
Своих наркомов поминают  
За съезды их, за планы пятилетки,  
А за ошибки и недостатки механизма  
На чистку их самокритично отсылают...

Однако, по воспоминаниям мамы, после отмены нэпа людей, открывших магазины и торговлю, посадили. Так же поступили и с «Торгсином» – его закрыли и многих выслали из Москвы.

«Торгсин» (торговля с иностранцами) торговал за золото и серебро в те же 20-е годы. Тащила туда публика остатки от прежней жизни и ... попадалась на удочку, так как в то же время в тюремных камерах нещадно истязали легковых, главным образом, интеллигенцию, пытаясь вытянуть оставшиеся фамильные драгоценности.

Цепкая детская память сохранила случайно услышанные разговоры взрослых о скончавшемся в изоляторе от сердечного приступа пожилым человеке, нам знакомом, когда его заставили слушать стоны пытаемой в соседней камере жены на предмет выдачи отсутствовавшего у них, конечно, золота.

Жизнь социалистической страны, меж тем, всё более напрягалась, так как усилия властей были направлены на то, чтобы вытянуть из «трудящихся» последние жилы при возведении гигантских строений. Одновременно разоряя и раскулачивая крестьян, их загоняли в колхозы.

Приходя вечером с работы, папа, пообедав, буквально валился от усталости на кровать, засыпая часа на два. Разумеется, всё меньше оставалось у него часов для родных, для отдыха, а тем паче для развлечений. Сияют в памяти считанные разы посещения с отцом театра, особенно любимой им до умопомрачения «Пиковой дамы» в Большом.

В другой раз не обошлось без курьёза, когда, придя в Большой Театр на вердиевского «Трубадура», папа обнаружил, что билеты у нас в «Экспериментальный театр» (так назывался тогда филиал Большого), где шла эта опера. Примчавшись туда совершенно запыхавшиеся, мы к началу всё же успели, но каково же было изумление отца, когда с первых аккордов увертюры он узнал «Мазепу»! Оказалось, произошла замена, объявления о которой у входа папа в спешке не заметил.

Совсем редкими стали свидания с приятелями-преферансистами, почти перестали мы видеть папу склонённым над шахматной доской, хотя игра эта была его любимым отдохновением.

Ощущая, по-видимому, своё предназначение быть инженером-практиком, не избегая ответственности в профессии, столь связанной с риском, отец всё чаще покидал Москву, меняя цивилизованную жизнь столицы на неустроенное существование периферийных горнорудных поселений.

Крепко мне запомнились полтора года, 1926-28, проведённые с родителями в Сибири, на Риддерском месторождении под городом Усть-Каменогорском, где отец руководил в должности главного инженера добычей цинковых и свинцовистых руд в системе «Алтайполиметалл».

К этим же временам, кстати, относится шикарно оформленная, с алой лентой и ярким орнаментом «Патентная грамота», выданная отцу 31 мая 1927 года к патенту №2962 на изобретение электрической лампы накаливания с двумя нитями.

На Риддере из окон нашей квартиры открывалась необычная панорама рудничного строительства: заводские трубы, шахтные вышки, насыпи пустой породы у обогатительных фабрик. А быть главным инженером этого хозяйства означало ежедневно отвечать за жизнь тысяч шахтёров и быть вездесущим, то есть, метаться по разбросанным на километры площадкам, строительным участкам, штольням, шахтам и заводоуправлениям.

Зато в редкие воскресные дни, дни папиного пребывания дома, он приобщал меня к классической русской поэзии. Мы вслух читали или Чехова, или Диккенса. Порой мы совершали путешествия, дети на пролётках, взрослые верхом – в горы, на бурлящие в пене горные реки Громатуху или Журавлиху. Там, во всём своём величии и дикой красоте,

являлась нашим взорам алтайская природа – тёмной до черна зеленью, лиловыми ирисами, оранжевыми огоньками и пунцовыми пионами. Впадину окружали хребты с возвышающимися пиками «Трёх братьев», с вечным снегом на вершинах, становившимся при закате багряным, как кровь.

На фотографии тех лет – отец в зимнем пальто и в инженерской фуражке с эмблемой горняков на околыше (два перекрещённых молоточка). Выглядит он очень серьёзным, с вертикальной морщинкой на лбу. Именно эту фотографию подарил он мне тогда с надписью: «Моей дорогой доченьке, Евгеньюшке, чтоб смотрела и помнила о своём папе. 29 мая 1927 г.»

Со времён Риддерских разработок в жизнь отца вошёл человек, ставший ему близким другом, хотя и был на 10 лет моложе, – Маковский Георгий Константинович. Верный помощник в работе, впоследствии он стал нашим родственником, женившись на папиной двоюродной сестре Нине Александровне Калистратовой (Н.А.Калистратова-Маковская (1904-1991), дочь А.Е.Калистратова). Георгий Константинович, внук знаменитого русского художника В. Маковского, обладал большим личным обаянием и выделялся внешней красотой. Он был не только талантливым, высоко ценимым металлургом, но и в высшей степени образованным, со знанием иностранных языков человеком. Своей игрой на рояле, в особенности исполнением известного 12-го этюда Скрябина и сонаты Грига, он восхищал. Замечу, что в Чимкенте на металлургическом электроцинковом комбинате теперь, после реабилитации, на «почётной доске» выдающихся металлургов помещён портрет Г.К.Маковского (Маковский Г.К., арестован 17.02.1937. Расстрелян 22.09.1937). Сделано это в память о его работе в 1931-1933 годах в должности главного металлурга этого комбината.

На Риддере же часы досуга отец с Георгием Константиновичем проводили вместе. Бывало и так: сядут они тёмным сибирским вечером играть в шахматы, а папа вдруг затянёт: «За кирпичной тюремной стеной молодой арестант умирал...», а то ещё каторжанскую песню на слова А.К. Толстого «Спускается солнце за степи...». Правда, делал он это как бы механически, себе под нос, но заунывный мотив и зловещий для тех времён смысл селили в душе тоску. Мама начинала нерничать, просила отца «сменить пластинку».

До сих пор болезненно щемит сердце, как вспомню побелевшее лицо отца, стремительно бросившегося к окну, когда однажды глухой осенней ночью мы проснулись от пожарного набата в освещённой заревом комнате. К счастью, телефонный звонок его помощника известил, что горит всего лишь маленькая пимокатная мастерская. Это заведеньице находилось неподалёку от обогатительной фабрики, отчего папе представилось, что польхает именно этот важный объект.

Или тот злосчастный день, когда затопило одну из шахт. Всех людей, слава Богу, удалось спасти. Отец оставался на месте аварии всю ночь, так что мы с мамой теряли голову от страшных мыслей и горячо молили Бога о спасении отца. Ужас усугублялся тем, что при катастрофах на место происшествия незамедлительно выезжала комиссия ОГПУ и начинались поиски «вредителей».

Мама в своих записках упоминает, да и сама помню некоторых бывавших у нас горных инженеров старшего возраста, специалистов прежней школы, высокообразованных и отличавшихся благородством людей. По воспоминаниям мамы:

«...например, Федорович Иосиф Иосифович (Федорович Иосиф Иосифович (1875-1937?), горный инженер. В 1924–1928 зам. председателя Топливной секции, председатель Сибирского Бюро. Арестован в 1928 по делу Промпартии, осужден КОГПУ от 26.08.1929 на 10 лет лагерей. В заключении на Соловках (1929-1930), с янв. 1931 в Карлаге, работал в Каменноугольном тресте Караганды, в 1932 дело пересмотрено, освобождён без права выезда из Караганды. Вновь арестован в 1937 (?), расстрелян). Его мой муж хорошо знал, так как в прежнее время, будучи студентом, работал у него на практике. Федорович тогда был главным инженером в Донбассе и назывался «королём угля», настолько он был блестящим и знающим инженером. И вдруг «вредитель». Я с ним и его женой встречалась в Москве, знала, какие это были прекрасные и порядочные люди. В их «вредительство» мы не верили ни минуты. Вернувшись в Москву (с Риддерских разработок – Е.Е.), с большим огорчением узнали, что Федоровичей выслали в Караганду».

Помню Лессига Августа Карловича, Гуштюка Ивана Трифоновича и других. Лессиг вёл партию виолончели в домашних папиных концертах. Все эти люди в конце 1920-х годов были расстреляны либо сосланы. Только Гуштюк лет

через десять вернулся из лагерей. Его лицо с бородкой, как смоль, и умными живыми чёрными глазами было очень запоминающимся. Родители говорили о нём как о человеке исключительной порядочности. Уже после ареста отца мы с ним встретились, и он долго и безуспешно пытался меня утешить, ссылаясь на пример своего возвращения.

Отца тогда ещё, к счастью, не тронули, и, завершив свои разработки, он в конце 1928 благополучно вернулся с нами в Москву.

Больше всего, как писала мама, поражало то, что многие окружающие и даже близкие нам люди выражали сомнения в невинности тысяч загубленных специалистов. Отец же говорил маме, чтобы она никогда не верила этим сказам.

По возвращении с Риддера родителей ждало испытание: отца вызвали в ОГПУ с предложением работать на них. Он рассказал об этом маме, вернувшись, несмотря на свой отказ, через два-три часа домой. Часы эти мама провела на коленях перед иконой.

Вот так и подкатили к нам апокалиптические 30-е годы, и началась жизнь, со слов мамы, «под угрозой чего-то страшного и нелепого. Вечный страх за мужа и его настроения не покидал меня даже во время весёлых встреч с друзьями...»

С большим чувством и любовью, я бы сказала – преклоняясь перед ним, характеризует мама моего отца. Называет его

«необыкновенным человеком, намного выше среднего уровня, чрезвычайно наблюдательным, чутким, с большой интуицией... Помимо того, что был выдающимся специалистом, блестящим организатором, он был ещё всесторонне образованным человеком высокой культуры. Большим любителем музыки, искусства и ценителем всего красивого, вплоть до моих тряпок, которые я очень любила...».

Последним из радостных детских воспоминаний того периода представляется вождённое ожидание детьми рождественской ёлки. При этом, она наряжалась, начиная золотиться огоньками свечей, именно на Рождество, а не под Новый год. На праздники собирались человек десять детей, мы с упоением отплясывали русского (под «Во саду ли, в огороде»), венгерку, краковяк, вальс и, конечно, модную тогда польку («Что танцуешь, Катенька?» – «Польку, польку, паленька!»), обученные всему этому моей мамой, под её фортепианный аккомпанемент.

Однако в 30-е годы счастье это пошло на убыль в связи с нарастающими газетными заметками, что, мол, устраивать ёлку в Рождество по новому стилю – это ещё цветочки, а вот кто празднует по старому стилю – это уже ягодки! – и так далее. Стали глухо занавешивать окна, но доносчиков-то расплодилось пруд пруди! И кончились наши рождественские радости: развлечения с шарадами и представлениями на сочиняемые папой комические сюжеты.

Напряжённая работа, да ещё по два-три года без отпуска, не могла не сказаться на здоровье отца – грозным предупреждением сделались несколько сердечных приступов. Экстренно вызванные мамой врачи решительно настаивали на немедленном и длительном отдыхе. Под энергичным нажимом мамы и в её сопровождении он отправился на санаторное лечение в Кисловодск.

Сохранилась почтовая открытка от 14 июля 1932, отправленная папой из Ессентуковской грязелечебницы брату Серёже, где он пишет, что из-за плохого состояния сердца грязи принимать запретили, «поэтому, кроме отдыха, для ревматизма никакой пользы не будет».

В 1930-31 годах отец был главным инженером Ленабанка, это означало частые командировки на предприятия Урала, Лены и Алтая.

Тем ценнее для нас были периоды его пребывания дома, в Москве. Мой возраст обуславливал теперь единение с отцом на более серьёзном уровне. Фраза: «Пойдем-ка, Жека, прогуляемся на ночь», – отзывалась в моём сердце радостью – так забываемы были эти редкие прогулки по вечерним московским переулкам: Большому и Малому Успенским, Армянскому, Телеграфному, Кривоколенному. Темы бесед затрагивали самые различные области в желании отца всячески расширить диапазон моих знаний, почерпнуть в беспредельно идеологизированной школе. Мечтая сделать из меня инженера, он исподволь старался пробудить у меня интерес к технике.

Методически направлять моё «запойное» чтение у отца не хватало времени. Помню, например, что он считал вполне своевременным читать «Войну и мир» и «Анну Каренину» в 10-12 лет, хотя был несколько обескуражен, застав меня с «Амоком» С. Цвейга в руках. Но всё, что он считал пошлой литературой, типа «Дневника Кости Рябцева» (Н. Огнев (псевдоним М.Г. Розанова, 1888-1938) начал со стихов, в 1920-е писал прозу, издав книгу «Дневник Кости Рябцева», достаточно сексуальную, в 1926 г.), изгонялось им из обихода нещадно.

(Продолжение в следующем номере).